

## Annotation

---

- [Газданов Гайто](#)
    -
-

# Газданов Гайто

## Княжка Мэри

Гайто Газданов

Княжка Мэри

Их всегда было четверо, трое мужчин и одна женщина, и раз в два-три дня они приходили в одно и то же кафе, недалеко от скакового поля, садились за столик, заказывали красное вино и начинали играть в карты. Потому, что все они были очень бедно одеты, и потому, что каждый из них давно перестал заботиться о своей наружности, было трудно определить их возраст. Но все они принадлежали приблизительно к одному поколению, и каждому из них было, конечно, за пятьдесят. Женщина, которая их сопровождала, - или которую они сопровождали, - была всегда в одном и том же черном, лоснящемся платье, худая и темнолицая: было очевидно, что ей пришлось пройти в своей жизни через множество разрушительных испытаний. У нее был хрипловатый, низкий голос и особенное выражение какой-то запоздавшей дерзости в глазах, которая теперь казалась явно неуместной. Один из мужчин, человек с черно-седой щетиной на лице, всегда приблизительно одинаковой, так что получалось странное впечатление - можно было подумать, что он никогда не брился, но, в силу удивительной игры природы, его щетина не делалась ни длиннее, ни короче, как у покойника, - был одет, казалось, раз навсегда, в очень запачканный серый дождевик - зимой, весной и летом. Шляпы, приобретенной, вероятно, одновременно со всем остальным, он никогда не снимал. Против женщины сидел человек в кепке, рыжем пиджаке и черных штанах; он был единственным из четверых, чье прошлое было легко определить по раздавленному носу и расплюснутым ушам, по тому, что он был широк в плечах и его движения сохранили до сих пор, несмотря на годы, тяжеловатую точность. И, наконец, последний был невысокий человек с дергающимися щеками и особенным выражением лица, тревожным и незначительным в то же время. Он отличался от других тем, что у него было несколько костюмов и два пальто. Но так как все эти костюмы и оба пальто были давно и безнадежно изношены в

одинаковой степени, то явное его пристрастие к переодеванию было, в сущности, совершенно напрасной тратой времени.

В начале вечера они все были молчаливы. Мне пришлось - в силу целого ряда случайностей - неоднократно встречать их в этом маленьком кафе, возле скакового поля, и первое время все получалось так, что я уходил оттуда вскоре после того, как они там появлялись. Я их, однако, запомнил сразу же, с той ненужной и автоматической точностью, от которой мне было так трудно избавиться и которая перегружала мою память множеством совершенно лишних вещей. Несколько позже, когда мне приходилось оставаться в этом кафе до ночи, я слышал их разговор за игрой и мало-помалу составил себе приблизительное представление о том, что определяло сложную систему их отношений между собой. Как это ни казалось - в одинаковой степени - печально и оскорбительно, эту женщину с каждым из ее спутников связывало то, что они называли любовью. Насколько я понял, в центре этих - в конце концов эмоциональных - движений находились женщина и человек в дождевике и шляпе. Двое других, бывший боксер и четвертый спутник, казалось, проводили время в постоянном ожидании счастливого случая, который позволит им занять место ее избранника со щетиной. Было трудно сказать, на что именно они рассчитывали: на скоропостижную смерть их счастливого соперника, на случайный припадок слабости их героини, на ту степень опьянения, когда становится возможным то, о чем в трезвом виде остается только бесплодно мечтать. Так или иначе, но на этой почве между ними никогда не было никаких недоразумений.

Самым удивительным мне показалось то, что человек со щетиной и шляпой, которую он не снимал ни при каких обстоятельствах, пользовался и со стороны женщины и со стороны ее спутников несомненным уважением, причина которого мне долго была непонятна. Только значительно позже я узнал, отчего это происходило - из короткого разговора, поводом для которого послужили соображения, относившиеся к только что конченной игре в карты. Это был первый спор между ними, который я услышал. И тогда же я заметил, что человек со щетиной, в отличие от своих партнеров, говорил по-французски неправильно и с сильным русским акцентом. Защищая его от нападок бывшего боксера и худенького мужчины с прыгающими щеками, темнолицая женщина сказала своим

хрипловатым голосом, что они оба ему в подметки не годятся и что они должны понимать его бесспорное превосходство. Никто из них против этого не возражал, и было очевидно, что они с этим были согласны. Только человек с тревожным и незначительным лицом ответил, что, конечно, он все понимает, но ведь он тоже не первый встречный - как он выразился.

- Не забывай, что я артист, - сказал он. Я думаю, что он должен был тотчас же пожалеть о своих словах, так как женщина не дала ему продолжать.

- Артист? - сказала она с необыкновенным презрением в голосе. - Артист? - Она была настолько возмущена, что перешла на "вы". - Вы артист? В каких пьесах вы играли? В каких театрах? Когда?

- Я играл... - сказал он чрезвычайно неуверенным голосом. Было очевидно, что катастрофический для него исход этого спора был предрешен.

- Вы играли двадцать пять лет тому назад, - сказала она, - и вас выгнали из театра потому, что у вас не было таланта, monsieur.

Мне показалось, что лицо боксера побледнело, когда он услышал это слово - monsieur. Худой человек умолк, но женщина продолжала говорить все в том же презрительном тоне. Она, во-первых, отрицала, что человек со щетиной играл не так, как нужно, - в чем его обвиняли партнеры. Во-вторых, по ее словам, если даже допустить, что он играл действительно не совсем так, как следовало, то они, боксер и худой человек, не должны были забывать, что, соглашаясь сесть с ними за стол, он оказывает им честь, и они должны это ценить. Никто ей не возражал, и спор прекратился.

Два слова, "monsieur" и "honneur" 1), могли показаться удивительными в устах этой женщины. Но я знал, что идеи иерархического предпочтения сохраняли свою силу почти во всех кругах человеческого общества и среди несчастных, обездоленных людей, на том отрезке их жизни, который отделял их от смерти на улице или в тюремной больнице, понятие о чести или социальном преимуществе упорно продолжало существовать, несмотря на то, что, казалось, давно потеряло какой бы то ни было смысл. Мне хотелось понять, чем объясняется это загадочное и несомненно иллюзорное превосходство человека со щетиной над его партнерами, настолько бесспорное, что они против этого не возражали. Я обратился за

справками к гарсону. Он сообщил мне о них все, что знал. Человека со щетиной звали почему-то женским именем - Мария. Бывшего боксера звали Марсель, худощавого человека - Пьер. Имя женщины было Мадлэн. Худощавый человек действительно в свое время был актером, но очень недолго. Марсель действительно был боксером, и, когда гарсон назвал мне его фамилию, я вспомнил отчеты об его матчах, лет пятнадцать, двадцать тому назад, которые я нашел однажды, роюсь в архивах спортивного журнала. Мадлэн в свое время была портнихой. Преждевременный конец карьеры каждого из них объяснялся, по словам гарсона, одним и тем же: пристрастием к азартным играм и красному вину. О человеке с женским именем гарсон сказал вещь, которая мне показалась явно неправдоподобной: мужчина, по имени Мария, был известным русским писателем.

Я их увидел еще раз, через несколько дней после этого разговора с гарсоном. Был вечер зимнего, холодного дня. На дворе шел мелкий снег, сквозь легкий туман мутно светили уличные фонари. Не знаю почему, все в тот вечер доходило до меня сквозь эту мутную прозрачность снега, фонарей, зимних пустынных улиц. Я шел пешком из одного конца города в другой и, как это уже неоднократно со мной бывало, потерял точное представление о том, где я нахожусь и когда это происходит. Это могло быть где угодно - в Лондоне или Амстердаме - эта перспектива зимней улицы, фонари, мутное освещение витрин, беззвучное движение сквозь снег и холод, неверность того, что было вчера, неизвестность того, что будет завтра, ускользящее сознание своего собственного существования и все преследовавшие меня в тот вечер чьи-то чужие и далекие воспоминания о Петербурге, и эти магические слова - "Ночь, улица, фонарь, аптека", - весь тот исчезнувший мир, которого я никогда не знал, но который неоднократно возникал в моем воображении с такой силой, какой не было у других воспоминаний о том, что действительно происходило со мной за эти долгие годы, наполненные спокойным отчаянием и ожиданием чего-то, чему, быть может, никогда не было суждено случиться.

И именно в этот вечер я опять увидел их в том же кафе, где они бывали и куда я вошел машинально, даже не думая, зачем я это делаю. Они сидели, как всегда, за столом и играли, как всегда, в карты. Но, вероятно, от того, что я находился в особенном, необычном

расположении духа, они мне все показались не такими, какими казались всегда. И несмотря на то, что угол кафе, где они сидели, был освещен не больше и не меньше, чем каждый вечер, мне показалось, что они возникают в почти рембрандтовских сумерках, из неопределимого прошлого. Я подумал о том, что в них всех были какие-то элементы вечности: с тех пор, как существовали люди, во всех странах и во все времена, существовало и то, что определяло жизнь каждого из них, вино, карты и нищета; и их профессии - портниха, актер, боксер или гладиатор и, наконец, писатель. И вдруг мне показалось, что я совершенно отчетливо услышал чей-то далекий голос, который сказал по-французски эту фразу:

- Mais ils ne sont sortis de l'eternite que pour s'y perdre de riouveau 2).

Я перестал бывать в этом квартале Парижа и в этом кафе и только случайно вернулся туда почти через два года после того, как последний раз видел там этих людей. Их там не было. На следующий раз, через несколько дней, тоже. Наконец, однажды, когда я снова туда пришел, я увидел Марию. Но он был один. Он сидел за тем же столиком, где раньше они сидели вчетвером, перед стаканом красного вина и неподвижными глазами смотрел прямо перед собой. Его, казалось, ничто не могло изменить - та же щетина, та же шляпа, тот же дождевик. И тот же акцент, - я в этом убедился через несколько минут, когда возникло недоразумение между ним и гарсоном, который не хотел больше верить ему в кредит и грозил вызвать полицейского. Я подумал, что судьба дает мне удобный предлог для знакомства, заплатил за его вино и предложил ему выпить еще, на что он немедленно согласился. Я сел против него, заказал себе кофе и спросил по-русски:

- Простите, пожалуйста, что стало с вашими спутниками?

- А? - сказал он. - Вы их знали?

- Да, я неоднократно вас видел здесь всех вместе, это было года два тому назад.

- Да, да, - сказал он. - Это было хорошее время. С тех пор многое изменилось. Они оба умерли - и Марсель и Пьер. Пьер как-то вернулся домой немного выпивши и забыл закрыть газ в кухне. Марсель умер скоропостижно, на улице - сердце. Мадлэн сейчас в больнице, вот уже третий месяц. Почему вас все это интересует?

Потом он наконец заговорил о литературе, и тогда стало очевидно, что это действительно было главное в его жизни. Он не сказал мне, что именно он пишет теперь, и только упомянул о том, что он сотрудник одного из самых распространенных русских журналов и что ему приходится много работать за ничтожную плату. Зато он говорил о другом, о своих прежних произведениях и их печальной судьбе. Он страдал, как мне показалось, особенной формой мании преследования, впрочем, довольно распространенной: он был жертвой зависти, интриг и безмолвного литературного заговора, в котором участвовали самые разные люди. Одни из них завидовали его таланту, другие боялись его конкуренции, и поэтому, как он сказал, его нигде не печатали. По его словам, он печатался в прежние времена, в России, где у него был большой успех. По одному этому наивному выражению "большой успех" можно было судить о его простодушии, как по остальным его высказываниям - о его неиспорченности, против которой оказались бессильны жестокие внешние обстоятельства его жизни и множество других, не менее неблагоприятных вещей. Даже тех, кто делал все, чтобы не дать ему возможности печататься здесь, за границей, он не склонен был очень обвинять.

- Вы знаете, - сказал он мне, - эти люди держатся за свои места в редакциях, это понятно. Другие, помоложе, эти самые модернисты, они из кожи лезут вон, чтобы выдумать что-нибудь необыкновенное. А я художник. Я пишу о том, что вижу, больше ничего. И это есть настоящая литература.

Через некоторое время я снова встретил его в том же кафе, опять одного. Он никогда не бывал по-настоящему пьян; но с таким же правом можно было сказать, что он никогда не был трезв; он неизменно находился в промежуточном состоянии, похожем на какой-то, ускользающий от точного определения, переходный момент алкогольной эволюции. Он был близок к опьянению, но не пьян, и в этом было нечто вроде почти математической недостижимости, как в теореме о пределах вписанных и описанных многоугольников.

В тот раз он вынул из кармана рукопись, напечатанную на машинке, и дал мне ее, чтобы я ее прочел.

Это был довольно короткий роман - и я читал его с чувством тягостной неловкости. Он был написан от первого лица, и его героиней была женщина. Несмотря на дурной вкус, с которым это

было сделано, на невероятное количество многоточий и восклицательных знаков, на явную, нищенскую бедность языка, было очевидно, что выполнению этой книги предшествовало огромное и мучительное усилие воображения. Каждое физическое и душевное состояние героини было описано во всех подробностях. Это было неправдоподобно, но было сделано с необыкновенным богатством деталей и с явной любовью к этому сюжету, который не стоил и десятка строк. Конечно, героиня была очень красивой женщиной, никто никогда не мог оценить ее редкого душевного очарования, и она кончала самоубийством. Роман назывался "Жизнь Антонины Гальской".

В тот день - это было начало февраля, - когда он передал мне свою рукопись, я видел его последний раз в моей жизни. Когда я вернулся в это кафе, примерно через месяц, гарсон сказал мне, что он умер в больнице от болезни печени. Гарсон передал мне записку на разграфленной в клетку бумаге, такой же самой, на какой был напечатан его роман. В этой записке, написанной по-французски с орфографическими ошибками, меня просили прийти в это же кафе, тогда-то, в таком-то часу. Записка была подписана Мадлэн.

Свидание было на следующий день. Мадлэн пришла, в своем черном платье, такая же худая и темнолицая, как всегда. Но мутные ее глаза были печальны, и в них оставалось больше того запоздалого выражения дерзости, которое поразило меня, когда я увидел ее первый раз. Она говорила мало и с усилием. Она сказала мне, что он умер, что он был известным русским писателем, что на его имя продолжают приходить письма от читательниц. Она просила меня пойти с ней и взять его рукописи. Он ей сказал перед смертью, что их надо передать именно мне, потому что я был единственным человеком, который его по-настоящему понял и оценил. Мадлэн не могла захватить их с собой, так как с утра ушла в город и не успела побывать дома. Я пошел с ней.

Мы долго поднимались по узкой каменной лестнице, мимо темных дверей с давно облупившейся краской. Над нами и под нами, в неподвижном холодном воздухе, на разных этажах, слоями стояли запахи кухни, белья, капусты, лука, золы, плыла далекая струя оскорбительно-одуряющих духов: по-видимому, некоторое время тому назад наверх прошла какая-то проститутка, и ее одеколонный след

пересекал эту вертикальную последовательность удушливых прослоек. На самом верху лестницы, на последней ее площадке, Мадлэн отворила дверь, которая, вероятно, никогда не запиралась, и мы вошли в комнату, точно похожую на те, описания которых в бульварных романах мне всегда казались преувеличенными. В ней был земляной пол, две кровати из ржавого железа, разбитое зеркало, выщербленный таз для умывания, две табуретки, гвозди, вбитые в стену вместо вешалок, и маленький узкий стол, на котором стояла керосиновая лампа с жестяным рефлектором.

- Мы прожили с ним здесь вместе много лет, - сказала Мадлэн. - Иногда к нам приходили друзья, Пьер и Марсель. Они оба умерли, так же, как и он. И все это случилось так быстро, *monsieur*, так быстро.

Я слушал ее отрывистые слова - и меня вдруг поразила необыкновенная выразительность ее низкого и хриплого голоса. И мне показалось - это было нечто вроде слуховой галлюцинации, - что именно этот голос произнес ту фразу, которой никогда никто не говорил и которую слышал только я:

- Mais Us ne sont sortis de l'eternite que pour perdre de nouveau.

Я взял сверток рукописей. Мадлэн сказала:

- Благодарю вас, *monsieur*. Он мне сказал, что вы к нему хорошо относились. Если я могу вам быть полезной, рассчитывайте на меня.

- Если я могу быть вам полезной... - В этом было какое-то странное смещение понятий, насколько неестественное и почти что жуткое, что мне на минуту стало не по себе. Я поблагодарил Мадлэн и пожал на прощание ее жесткую руку.

- Он сотрудничал в русском журнале "Парижская неделя", - сказала она, я не могу вам дать номера этого журнала, я оставила их себе на память.

Я сказал, что я понимаю ее, и ушел.

Я стал разбирать эти рукописи в тот же вечер. Я был один в своей квартире, и, после того как я побывал в комнате Мадлэн, я испытывал тягостное ощущение напрасного стыда за все, что меня окружало и на что я до сих пор никогда не обращал внимания: обои, ковры, вешалки, диван, кресла, ванна, книги на полках. Первая же статья, которую я начал читать, меня удивила. Она называлась "Женщина в сорок лет" и начиналась так:

"Время бежит незаметно. Жизнь тклет свою пряжу. Казалось, только вчера вам было двадцать лет. Сегодня вам может быть тридцать два года. Еще немного, и вот уже приближаются фатальные сорок лет. Но не надо отчаиваться. Если вы юны и стройны, то только ваше лицо может выдать ваш возраст, поэтому надо обратить все внимание на макияж".

Дальше шли подробные советы - как следует пудриться, каким должен быть крем для лица и так далее. "Будьте осторожны в выборе красок. Контрасты, избегайте контрастов! Сглаживайте дефекты. Употребляйте палевые тона для век. Одно яркое пятно на вашем лице - рот. Он придает лицу мягкость". "Воздерживайтесь от крепких спиртных напитков". "Если вы будете всегда в ровном настроении, с ясной душой, вы долго еще на радость тем, кого вы любите, будете юны не только душой, но и туловищем".

Статья была подписана: "Княжна Мэри". Я стал читать дальше - все было приблизительно то же самое. "Культурные нации давно поняли, что массаж лица не только не мешает, а наоборот, способствует культуре духа. Об этом писали еще римляне". "Для массажа подбородка - давите сильнее. Не бойтесь, это безопасно, так как там у вас кость". "Избегайте слишком сильно пудрить нос: от этого он увеличивается в размере".

"В светском разговоре необходимо показать скромный, культурный блеск. Цитируйте стихи. Но не те, которые все знают наизусть. Цитируйте, например, такие стихотворения, как то, которое напечатано в одном из предыдущих номеров нашего журнала:

Грациозна и смугла,  
Вся и счастье и измена,  
Улыбаяся прошла  
Кадиксая морена.

Потом шли описания туалетов. "Очень элегантен, хотя несколько строг ансамбль из черного крепдешина. Зеленые листья инкрустированы возле талии и по всему манто труа кар". "Вечером носят светлые тона: цикламен, гелиотроп, лиловый". "Платье шемизье классического фасона".

И всюду одна и та же подпись: "Княжна Мэри". Я отложил рукописи в сторону. В тот вечер я ощутил с необыкновенной отчетливостью, которой потом, позже, не могли восстановить никакие

усилия моего воображения, всю призрачность этой человеческой жизни. Все, что казалось чем-то печально неопровержимым и непоправимым в существовании этого человека, все это были неважные, в конце концов, подробности. Все: и жестокая нищета, и одутловатое от вина, небритое лицо, и дряблое мужское тело, и порванный дождевик, и брюки с бахромой, и дурные запахи, и плохое знание французского языка, и невежественность, и полная невозможность присутствовать когда бы то ни было на каком бы то ни было "светском приеме", где надо цитировать стихи и показывать скромный, культурный блеск, - все это было совершенно несущественно. Потому что, когда этот человек оставался один, в том мире, который был для него единственной реальностью, с ним происходило чудесное и торжественное превращение. Все приходило в движение: смещались мускулы, сбегались линии, звучали стихи и мелодии, вспыхивали электрические люстры, в воздухе плыли классические и строгие ансамбли из черного крепдешина, раздавался безупречный французский выговор: вечерний прием у британского посла в Париже, на Rue du Eg. St. Honore. И если бы у моего бедного знакомого, судьба которого так внезапно пересекла мою жизнь, хватило сил на последнее творческое усилие, то на серой простыне больничной койки, вместо окостеневшего трупа старого нищего, лежало бы юное тело княжны Мэри - во всем своем торжестве над невозможностью, временем и смертью.

1) честь (фр.).

2) Но они вышли из вечности, чтобы снова там потеряться (фр) .